

ОБЗОРЫ, РЕЦЕНЗИИ, РЕФЕРАТЫ

И.А. ШМЕРЛИНА

**БИОЛОГИЧЕСКАЯ МЕТАФОРА В СОЦИОЛОГИИ:
Обзор монографии «Biology as Society, Society as Biology:
Metaphors» / Ed. by S. Maasen, E. Mendelsohn,
P. Weingart. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1995.**

Проблематика биологического обоснования социального поведения занимает в социологии маргинальное, но вместе с тем устойчивое положение. Спектр тематических позиций, в которых с той или иной степенью напряженности, сходятся биологический и социологический ракурсы анализа, весьма широк: от наиболее спорной проблемы генетической предопределенности культуры и социальности до более очевидных вопросов биологической подоплеку некоторых поведенческих девиаций.

Книга «Биология как общество, общество как биология: метафоры», изданная С. Маасеном, Е. Мендельсоном и П. Вейнгартом, представляет собой сборник статей, раскрывающих не столько релевантность биологического обоснования социальных феноменов, сколько эпистемологическую роль метафоры (в данном случае биологической) в научном познании. Проблема биологического обоснования социальных феноменов раскрывается лишь в одной статье сборника. Причем автор статьи Р. Воклер смотрит на эту проблему с респектабельным социологическим скепсисом.

В выборе социобиологических метафор просматривается разумная избирательность. В современной литературе активно обсуждаются понятийные аналогии «фило-», «онтогенез» и «социогенез», «генетический код» и «коды культуры», «общество» и «популяция» и т. п. Однако в поле внимания авторов сборника находятся традиционные метафоры, занимающие заслуженное место в истории теоретической социологии. Это «большие» метафоры борьбы, организма и эволюции. Именно они конституируют тематическое пространство сборника, который интересен прежде всего тем, что

Шмерлина Ирина Анатольевна— кандидат философских наук, доцент факультета социальных наук Нижегородского государственного университета.
Адрес: 603000 Нижний Новгород, пер. Университетский, 7.
Телефон: (8312) 33-83-49. Электронная почта: Irina.Shmerlina@msses.ru

дает аргументированную ревизию хрестоматийных историко-социологических истин. Новое прочтение Г. Спенсера, предпринятое А. Ла Вергатой и П. Хейлем, заставляет усомниться в социал-дарвинистской «принадлежности», равно как и «биологичности» одного из основателей социологической теории. Социал-дарвинизм при ближайшем рассмотрении рассыпается как искусственная, плохо слепленная историко-идеологическая конструкция (Л. Боулер и П. Вейнгарт), а организмическая модель оказывается непригодной даже для описания биологических феноменов (С. Митчелл).

Тематическое единство сборника проявилось в нескольких сквозных сюжетных линиях, которые проходят через многие разделы, объединяя их в общую проблемную область. К числу таких общих сюжетов относятся история рекурсивных превращений организмической метафоры; эпистемологический статус биологической метафоры и, конечно, рассуждения «о пользе метафоры в научном познании». Рассмотрению метафоры как средства научного познания посвящен раздел «Переоценка метафоры» («*Metaphors Revalued*»). Он задает историко-научный контекст обсуждения и открывается статьей Сабины Маасен «Кто боится метафор?». Знакомство с этой статьей полезно прежде всего тем, что она является весьма конструктивным введением в проблематику, представленную сегодня практически необозримой библиографией. «Поток новейших публикаций по проблеме метафоры представляется поистине необъятным, — отмечает С. Маасен. — Действительно, один взгляд на библиографии публикаций о метафоре, составленные Ноппен и соавторами в 1985 и 1990 гг., позволяет понять, что имеет в виду Ноппен под «метафороманией» интеллектуалов, начавшейся в 1970-е годы. Хотя обе библиографии не являются исчерпывающими, они содержат более 6000 наименований; только рекомендации для начинающих насчитывают более 200 позиций...». Впечатляет также разнообразие дисциплин и сфер, в рамках которых исследуется метафора: лингвистика, семиотика, риторика, литература, философия, психология, социология, история, политические науки, медицина и искусственный интеллект (с. 11)¹. В статье С. Маасен, как и в других публикациях сборника, рассмотрение метафор ограничено функциональным ракурсом. Последний, как подчеркивается в редакторском введении, не проясняет терминологические нюансы таких понятий, как «метафора», «аналогия», «модель», «риторика», «система взглядов»; все они используются для обозначения одного и того же феномена: «переноса идей и концептов, то есть “смысловых фрагментов” (pieces of meaning) из одного дискурса в другой» (с. 1). Исследовательские задачи авторов сборника связаны с выявлением функций/дисфункций метафорического рассуждения в сфере науки. Локализованная в этих тематических границах, статья С. Маасен дает содержательный и лаконичный анализ трех основных способов трактовки роли метафоры: семантического, прагматического и конструктивного; при этом автор специально останавливается на проблеме научных инноваций, стимулируемых метафорическим переносом.

Статья Л. Дастона (L. Daston) «Как Природа стала Иным: антропоморфизм и антропоцентризм в ранней натурфилософии Нового времени» посвящена истории эпистемологического разделения природы и человека, что,

¹ Здесь и далее в круглых скобках указывается страница рецензируемого издания.

в конечном счете, и обусловило появление социобиологической метафоры. «Метафоры требуют существования пропасти, через которую необходимо навести мосты, — пишет Л. Дастон. — Именно потому, что мы убеждены в зиянии пропасти между природным и человеческим, мы так часто называем (одобрительно или осуждающе) пространство, где сходятся биологические и социальные науки, “метафорическим”» (с. 37). Автор не связывает себя анализом какой-либо конкретной метафоры, но интересуется историческими предпосылками возникновения метафорических отношений между биологией и социологией, эпистемологическими условиями «появления бреши, достаточно широкой, чтобы создать потенциал для метафорических «разрядов». Каким образом природное стало столь отличным от человеческого? Как и почему антропоморфизм — концептуальная привычка видеть нечеловеческое в человеческих терминах — поставлен наукой под подозрение?» (с. 37). Л. Дастон обосновывает два взаимосвязанных тезиса. Первый заключается в том, что антиантропоморфизм современного толка принципиальным образом отличается от антиантропоморфизма, введенного механистической философией природы XVII века: «...основания, исходя из которых такие мыслители, как Блез Паскаль и Роберт Бойль, атаковали научный антропоморфизм, не только отличаются от наших сегодняшних обоснований подобной позиции, но и сами позиции... несовместимы. Мы являемся антиантропоморфистами, потому что мы антиантропоцентристы; они же были антиантропоморфистами вследствие их *про*-антропоцентризма» (с. 39).

Второй тезис Л. Дастона состоит в том, что запрет на антропоморфическое описание природы, введенный механицистами Нового времени, не только не вел к секуляризации науки, но, напротив, означал решительное внедрение иудейско-христианской теологии в натурфилософию. «Хотя механицисты XVII века атаковали Аристотеля и его последователей за антропоморфизацию природы, — пишет Л. Дастон, — их истинной целью была одушевленная... природа натуралистов Возрождения, ... сузив круг активности до Бога, людей и ангелов, они ввели... антропоцентризм, совершенно чуждый Аристотелю... Стремясь избавиться натуральную философию от одного вида антропоморфизма, они... ввели еще больший антропоморфизм в концепцию Бога как механика...» (с. 45, 53).

Публикация Л. Дастона, выполненная в традиционном историко-философском жанре, завершается нетривиальным выводом, созвучным методологическим исканиям современной биологии. Ярким проявлением антропоцентрической установки во взглядах на природу как на «иное», является, согласно Л. Дастону, представление о природе как о монолитной целостности, в то время как в действительности она есть бесконечное разнообразие форм и уровней жизни. «Природа была... и остается по сей день слишком монолитной... Только с непоколебимо антропоцентрической перспективы «природа» выступает как единый, интегрированный организм (*entity*),... сам языковой узус, который позволяет нам осуществить ценз вселенной в одном коротком слове «природа», покоится, по крайней мере частично, на глубоко укорененном антропоцентризме» (с. 53).

Любопытно сопоставить это мнение философа с методологической рефлексией современной биологии, одной из серьезных проблем которой считается «упорное стремление к целостному теоретическому объяснению

биологической реальности, исходящее, на первый взгляд, из очевидной идеи единства биологической жизни» [1, с. 100]. Между тем, исследователи все больше убеждаются в невозможности выстроить целостный теоретический образ природы и приходят к признанию разных типов и уровней биологической реальности, имеющих свои собственные законы и не сводимых друг к другу. Биологи и философ Л. Дастон говорят о разных вещах. Однако и всеобъемлющая биологическая теория, искусственно сближающая разнокачественные уровни биологической реальности, и концепт Природы «в единственном числе», игнорирующий немислимое разнообразие вселенной, суть способы рефлексии. Можно предположить, что в основе этих способов лежит одна мировоззренческая установка, истоки которой уходят в антропоцентрический холизм.

Статья Р. Фолка «Манифестируемое² и научное», дает конкретные примеры позитивной и дезориентирующей функций метафоры на примерах ранней истории генетики. Эпиграфом к статье служит любопытное замечание Вильгельма Иоганнсена. «Биология, — пишет знаменитый генетик, — очевидным образом заимствовала термин «наследственность (heredity and inheritance) из повседневного языка, в котором значение этого слова есть «трансмиссия» денег и вещей, прав и обязанностей, или даже идей и знания, от одной персоны к другой или некоторым «преемникам» (heirs) и «наследникам» (inheritors)» (с. 57). Первый из примеров Р. Фолка связан с историей осмысления объектов дарвиновского естественного отбора, концептуально (но не фактически) завершённой в 1909 г., после введения терминов «фенотип» и «генотип» В. Иоганнсенем. Другой сюжет связан с возникновением наглядного образа хромосомы, предложенного Морганом и его студентами, который не сразу получил признание в научном сообществе. «В обоих случаях, — пишет Р. Фолк, — манифестируемый образ создает систему координат, внутри которой развивается научный образ, однако в конечном счете он ограничивает независимое развитие научного образа» (с. 58). Последний пример публикации Р. Фолка иллюстрирует ситуацию, когда обыденные представления формируются под влиянием авторитета научного образа. В данном случае имеется в виду тот авторитет, который генетика предоставила евгенике (с. 58). Общим эпистемологическим фоном этих сюжетов служит идея П. Вейнгарта о трех основных типах метафорического трансфера между научным и обыденным языком, а именно: «1) из обыденного языка в научный язык; 2) из научного языка в научный язык, и 3) из научного языка в обыденный язык» (с. 127). Последний путь смыслового обмена чреват, по мнению П. Вейнгарта, всевозможными абберациями, превращая метафоры из средства раскрепощения интеллекта в своего рода «вирусы ума» (с. 129).

Предпринятый Р. Фолком первый экскурс в историю генетики представляют собой вариации на тему первого трансфера и демонстрируют разнообразие познавательных функций интуитивного образа, созданного воображением «человека с улицы». «Передача физических и поведенческих черт от родителей к их отпрыскам замечена еще в древние времена, по аналогии с

² Слово «manifest», звучащее в буквальном переводе как «очевидный», «явный», «ясный», в статье Р. Фолка синонимично понятию «являющий себя в обыденном сознании». Здесь использована калька английского термина.

сотворенными человеком традициями или правилами наследования имущества», — замечает Фолк. — В основе биологической теории наследственности первоначально лежал именно манифестируемый образ материального наследования... В 1866 г. Грегор Мендель опубликовал работу, которая могла бы послужить основанием для различения передачи «качеств»³ от наследования факторов, которые обеспечивают потенциал этих качеств. Однако эта возможность освобождения научного образа наследования от манифестируемого образа не была оценена ни менделевскими современниками, ни «перекотывателями» Менделя на рубеже XIX и XX веков. Манифестируемый образ наследственности направлял наблюдения не только в начале XX столетия, когда была основана современная генетика; в определенной степени его длинная тень продолжает влиять на научный образ вплоть до наших дней. Ученые, включая генетиков, никогда не оставляли концепции наследования черт. Хотя гордиев узел черт и наследственности был разрушен Иогансенном и Морганом в 1910 г., даже теперь является общей практикой говорить о «наследственных чертах»...» (с. 59-60). «Тиски» манифестируемого образа никогда не разжимались вокруг научного образа, — заключает Фолк. — Понятие «генетической черты» не исчезло из генетического дискурса, оно преследует генетиков современности точно так же, как дезориентирует «человека с улицы» (с. 64).

Второй пример Р. Фолка, в отличие от первого, служит иллюстрацией той креативной силы, которую может нести в себе наглядный образ, постижимый на уровне обыденных аналогий. 10 сентября 1911 г. Г. Морган представил на рассмотрение в журнал «Science» короткую заметку, где предложил описание хромосомы. В этом описании он открыто принял манифестируемый физикалистский образ хромосом как веревки или связки бусинок генов (с. 64). Г. Морган осознавал ограниченную дедуктивную силу повседневной метафоры, которая представляла хромосомы как пары полужестких нитей, удерживаемых скручивающими силами. Однако и он, и его студенты видели в этой метафоре мощный образ, который поддерживал их исследовательские программы в течение последующих тридцати лет (с. 65). Впоследствии, с развитием молекулярной биологии, категории механического притяжения и разъединения были заменены понятиями химических связей и ферментативных реакций, но это несколько не умаляет эвристической ценности первоначальной наглядно-образной модели хромосомы (с. 70).

Своеобразная мораль этих историй формулируется Р. Фолком как конфликт «между неизбежным (inevitable) и недостижимым (unattainable). «Неизбежное» он понимает как неизбежность взаимозависимости между манифестируемым и научным образом; «недостижимое» видит в идеале «независимого, объективного научного образа» (с. 59). «Научный образ в течение столетий базировался на манифестируемом образе обыденного человека, — пишет Р. Фолк. — Из него он извлекал свои концептуальные рамки, интуиции и метафоры. Манифестируемый образ всегда был источником его моделей. Со своей стороны, научный образ постоянно модифицировал манифестируемый образ. Они всегда были связаны отношением неизбежной взаимозависимости. Однако эта неизбежная взаимозависимость никогда не при-

³ Английское слово «property» означает и «имущество», и «качество».

нималась... мыслящим человеком. Хотя научный образ черпает свои ключи в манифестируемом, он должен возвыситься над ним и стать независимым от него... Геометрия Эвклида была сконструирована непосредственно на манифестируемом образе, неэвклидова геометрия была создана только после того, как научный образ освободился от манифестируемого. Наука о наследственности начала с манифестируемого образа наследования, но она смогла развиваться независимо только после того, как освободилась от манифестируемого образа наследования черт...» (с. 74-75). Логический позитивизм, по мнению Р. Фолка, был последней попыткой достигнуть недостижимого — науки, свободной от повседневных интуиций и манифестаций. Разочарование в этом наивном «святом» образе науки — цена заблуждений радикальной эвгеники.

Первый раздел сборника завершает дидактическая статья Р. Воклера, в которой он преподносит социобиологам уроки, почерпнутые из теоретической антропологии Просвещения. Статья называется «Животные и разум: социобиология, язык и изучение высших обезьян в эпоху Просвещения» и увязывает умозрительные, подчас поразительно точные замечания Ж.-Ж. Руссо о повадках высших обезьян, современные исследования языковых способностей человекообразных приматов («*language-training experiments*») и философские рассуждения о демаркационной границе между человеком и его ближайшими предками. Метафора как таковая не является предметом рассмотрения. Она подразумевается в общем контексте рассмотрения лингвистических способностей, которые отделяют человека от природы. В более узком смысле метафора упоминается Р. Воклером в связи с похвальным отсутствием антропоморфных аналогий в языке Просвещения. Великие мыслители этой эпохи, пишет Р. Воклер, «понимали метафору как знак специфически человеческой оригинальности и критерий разделения, который принципиально разводит человека и обезьяну. Не решаясь приписывать человеческие цели другим животным, они показали осторожность в использовании межвидового трансфера метафор, что достойно подражания и сегодня» (с. 98). Р. Воклер полагает, что «...концептуальные проблемы, поставленные естествоиспытателями и философами Просвещения, в значительной степени те же, что и проблемы, лежащие в основе современной социобиологии и исследований способности обезьян к усвоению языка. Но способы, которыми они пытались решить эти проблемы, не находят повторения у современных экспериментаторов» (с. 85). Итогом невнимательного отношения к работам предшественников является, по мнению Р. Воклера, концептуальная слабость современных исследований, которые размывают границу между человеком и природой. Мыслители Просвещения обладали недостаточным количеством достоверной информации о жизни, поведении и даже внешнем облике высших обезьян, однако, по мнению Р. Воклера, они «хорошо представляли себе цели научного исследования» (с. 85).

Три «большие» метафоры связывают пространство биологического и социального дискурса. Это метафоры организма, борьбы за существование и эволюции. Разделы «Борьба», «Эволюция» и «Организм», «Экономикс» дают конкретное представление о бытовании этих метафор в социальном, общественно-политическом и экономическом дискурсах. Идеи и идеологемы, обретающие свою судьбу в метафорическом взаимообмене между разными

сферами жизни, воспроизводятся в определенном культурно-историческом контексте. Образные выражения и ключевые слова, воплощающие эти идеи, приобретают наддисциплинарный статус духовных универсалий эпохи. Вероятно, именно так и следует рассматривать ключевые «биологические» метафоры социологического дискурса. Такой подход позволяет эксплицировать исторические судьбы той или иной метафоры, ее рекурсивных превращений, модификаций, мультиплицирования. Идеи органической целостности, эволюционного становления и конкурентной борьбы являлись (и в значительной степени являются до сих пор) универсальными идейными конструктами, мировоззренческими формами, в которых развивается человеческая мысль с античных времен. Поэтому было бы слишком наивным связывать влияние биологических метафор на социальный дискурс с пагубным биологическим редукционизмом. «Современная теория клетки и организма, — пишет П. Хейль, — в значительной степени была инспирирована использованием экономических и политических моделей. Фактически, в этом находит выражение традиция понимания обществ в терминах человеческого тела, предшествующая какому-либо точному знанию об организме... Более того, “организмическую метафору” лучше было бы понять как биологическую версию более общей картины, используемой для описания единого целого, состоящего из частей... Эта картина принадлежала, по сути, к стандартным понятиям социальной философии, экономики, биологии и социологии...» Организмическая метафора циркулировала между дисциплинами. Она «представляется своего рода хамелеоном. Иногда она становится “экономической метафорой разделения труда”, иногда “метафорой общества”, а иногда — “биологическим понятием”» (с. 179-180). Именно в системе координат, соотношенной с духовной атмосферой времени, могут быть поняты не только идеологические «извращения» эволюционных идей дарвинизма, но и сам дарвинизм.

Известна точка зрения, согласно которой теория Ч. Дарвина есть «проекция на природу социальных ценностей *laissez-faire* капитализма» (с. 107). Авторы сборника цитируют высказывание Ф. Энгельса, в котором эта идея выражена вполне отчетливо: «Вся дарвиновская теория борьбы за существование есть просто перенос теории Гоббса *«bellum omnium contra omnes»* и буржуазно-экономической теории конкуренции, а также Мальтусовской демографической теории из общества в органическую природу. Сделав подобный трюк... легко перенести эти теории из естественной истории обратно в историю общества... и заявлять, что этот тезис находит подтверждение как вечный естественный закон общества» (с. 127).

«Эта знаменитая интерпретация дарвиновской теории, — замечает П. Вейнгат, — повторялась Ф. Ницше, О. Шпенглером и бесчисленными второстепенными исследователями вплоть до наших дней» (с. 127). Прямая апелляция к этой идее прочитывается в заглавии статьи П. Боулера — «Социальные метафоры в эволюционной биологии, 1870-1930: расширение размерности (the wider dimension) социал-дарвинизма». Для правильного понимания социал-дарвинизма, к рассмотрению которого мы обратимся ниже, необходимо учитывать интеллектуальный контекст эпохи, в котором рождалась дарвиновская теория. «И Мальтус, и Дарвин, — пишет П. Вейнгат, — работали в тот период, когда взгляд на природу и общество как гармоничные

системы уступал дорогу представлениям, существенной чертой которых была идея борьбы как природного закона» (с. 130). Взятое из обыденного лексикона, понятие борьбы имело широкое хождение в научной среде, где осознанно использовалось как метафора или аналогия. Дарвин, дав третьей главе «Происхождения видов» заглавие «Борьба за существование», специально оговаривал небуквальное значение этого словосочетания, которое следовало понимать «в широком и метафорическом смысле, включая зависимость одного организма от другого, и включая (что более важно) не только жизнь конкретного индивида, но и его репродуктивный успех» (с. 130). Несмотря на то, что, вопрос о дисциплинарном приоритете в формировании идей эволюционной теории дебатруется в современной науке, марксистская позиция в этом вопросе остается достаточно популярной. Согласно одним авторам, «дарвинизм как таковой был дериватом (derivation) политической экономики». Другие авторы еще более радикальны. «Американский антрополог Марвин Харрис (Marvin Harris) зашел так далеко, что перевернул традиционные взгляды с ног на голову, настаивая на том, что именно спенсеризм (под которым он подразумевает учение о прогрессе через борьбу) лежит в основе дарвинизма, что «дарвиновские принципы были приложением концепций социальных наук к биологии» (с. 195). Помимо идейных и социальных истоков дарвинизма, П. Боулер считает необходимым напомнить об исторических обстоятельствах, в которых создавалась дарвиновская теория: «Дарвиновская теория была также продуктом его путешествия вокруг света на борту «Бигля», корабля, находящегося на службе Ее Величества Королевы и являвшего собой классическое выражение британского военно-морского империализма. К последним десятилетиям XIX века империалистическая этика отличалась гораздо большим уровнем самосознания, и неудивительно, что мы могли бы найти здесь метафоры завоевания и колонизации, проникающие в эволюционную теорию и палеоантропологию. Анализ других сфер научной мысли XIX столетия обнаруживает длительную традицию трактовки европейской истории и предыстории в терминах последовательных завоевательных волн, идущих из источника культурного прогресса на Восток. Дарвинизм (и эволюционизм в целом) был вдохновлен одновременно как либеральной философией постоянного прогресса, так и конкурентной, более консервативной исторической концепцией, которая подчеркивала последовательные волны завоевания» (с. 111). «В этих условиях, — заключает П. Боулер, — отслеживать направления взаимодействий между биологической и социальной теорией становится исключительно трудным делом. Не должны ли мы принять предположение Стивена Гоулда (Stephen Gould), что существует «вечные метафоры», которые постоянно проявляются в наших попытках интерпретировать прошлое; конкурирующие интерпретации, которые приходят на ум всякий раз, когда факты или культурная среда создают возможность для подобных трактовок?...» (с. 110-111). Борьба за существование, упомянутая в социальном контексте, немедленно вызывает ассоциации с социал-дарвинизмом – направлением, вокруг которого сконцентрированы самые мрачные предубеждения против вторжения биологии в сферу социального анализа.

Второй раздел сборника («Борьба») посвящен всестороннему рассмотрению данного феномена. Статьи Петера Боулера и Петера Вейнгарта, со-

ставляющие данный раздел, направлены против привычных, устоявшихся представлений о природе социал-дарвинизма, его истоках, смысле и реальном влиянии на социально-политическую жизнь рубежа 19-20 веков. «Популярность термина “социальный дарвинизм” высвечивает проблемы, подстерегающие каждого, кто вознамерится исследовать вопрос перемещения метафор между биологией и социальной теорией» (с. 107). Рассмотренный конкретно, в контексте его исторического становления, социал-дарвинизм обнаруживает не только концептуальную, но и терминологическую неопределенность, превращаясь не столько в метафору, сколько в концептуальный фантом, родившийся в результате многократного курсирования в популяризованном пространстве рассуждений о природе биологического и социального.

Работы Л. Боулера и Вейнгарта проясняют три принципиальных момента, которые необходимо понимать для правильного «обращения» с этим фантомом. Первое уточнение состоит в том, что социал-дарвинизм представляет собой достаточно размытое и весьма неоднородное тематическое пространство, сформировавшееся вокруг ключевого слова «борьба». Семантический ракурс последнего весьма широк — от спенсеровской идеи «борьбы в жизни» (с. 213) до расистского концепта «борьбы за выживание совершенной расы». Эта полисемия открывает возможности для самых разнообразных воплощений «социал-дарвинизма». «К счастью, — пишет Антонелло Ла Вергата, — в последнее время получила распространение идея, что ярлык “социальный дарвинизм” относится к гораздо более сложному феномену, чем первоначально считалось... Стало ясно, что метафора “борьбы за существование” очень сложна. Фактически, я бы назвал ее пучком метафор. Многие социал-дарвинисты фактически акцентируют только один аспект этой “полиметафоры”, иными словами, они представляют свою собственную разновидность социал-дарвинизма, которая является только одной из многих, исторически возможных... Подчеркивают ли они соревнование или кооперацию, поддерживают ли *laissez-faire* или социальный империализм, они искажают и истощают богатство, разнообразие и гибкость дарвиновского понятия...» (с. 194).

Вторая принципиальная идея заключается в том, что социал-дарвинизм не однороден не только с точки зрения его содержания, но и с точки зрения идейных истоков, которые, собственно, и обеспечили вариативность этого направления. Освещая неоднозначность анализируемого сюжета, П. Боулер замечает, что в становлении того, что принято называть социал-дарвинизмом, приняли участие несколько весьма различающихся эволюционных идей: «Используя единственный термин “социал-дарвинизм” для обозначения широкого диапазона социальных применений эволюционной теории, мы проявляем тенденцию к упрощению ситуации, фокусируясь на хорошо известном эволюционном механизме. Недавние работы по истории науки подчеркивают степень, в которой недарвиновские механизмы эволюции были приняты в конце XIX и начале XX столетия. Для понимания того, что называть “социальным эволюционизмом”, мы должны принять во внимание эти альтернативы...» (с. 107-108).

Первое имя, которое уместно вспомнить в контексте этих рассуждений, — это, безусловно, имя Герберта Спенсера. Многие исследователи сходятся во мнении, что в том социал-дарвинизме, истоки которого связывают с

именем Спенсера, собственно дарвинизма, в строгом смысле этой научной гипотезы, меньше всего. Мысль о том, что Спенсер, которого принято считать «Дарвином философии» (с. 195), на самом деле скорее является ее Ламарком, далеко не нова в истории социологии. «Все то, за что Спенсер был назван социал-дарвинистом, говорит о том, что *в действительности он был социал-ламаркистом*», — отмечает П. Боулер (с. 113). Социал-ламаркизм Спенсера вовсе не служил обоснованию антигуманной философско-политической позиции. Скорее наоборот: «Весь смысл спенсерианизма заключается в том, что природе должна быть предоставлена свобода прогрессивного развития, исключая всякое вмешательство, поскольку конечная цель социального развития является нравственной... Вся цель борьбы в обществе свободной конкуренции заключается не в том, чтобы уничтожить неприспособленные элементы, а в том, чтобы сделать каждого более приспособленным...» (с. 112). В статье Ля Вергаты показано, что спенсеровское понятие «выживания наиболее приспособленного» появляется и развивается в контексте, который является скорее социальным и моральным, нежели специфически биологическим: «Оно определено не относится к формированию новых видов; жестокая конкуренция развивает лучшие качества в каждом человеке, а не отбирает заранее существующие вариации» (с. 214). Само учение Ламарка сильно «работает» на гуманистическую идею. Э. Шредингер развил эволюционизм Дарвина и Ламарка именно по данному, нравственно-гуманистическому, основанию, противопоставляя «мрачной перспективе дарвинизма» жизнеутверждающие идеи Ламарка. «Теория Ж. Ламарка, — писал он, — не только предлагает очень простое объяснение удивительно сложному и специфическому процессу адаптации организма к окружающей среде, но является также красивой, возвышенной, вдохновляющей и стимулирующей... Разумное существо, считающее себя звеном длинной эволюционной цепи, может, согласно теории Ламарка, быть уверенным, что его усилия... составляют небольшую, но органичную часть общих усилий вида на пути к совершенству» [Цит. по: 2, с. 47].

Логическое объединение идеи естественного отбора и культурного эволюционизма продуцирует еще одну «социал-дарвинистскую» метафору — метафору экспансии и завоевания (с. 118). При ближайшем рассмотрении обнаруживается, что эта форма социал-дарвинизма, так же, как и спенсеровская эволюционная теория, не содержит специфически дарвиновских идей. «Нельзя отрицать того, что дарвинизм играл значительную роль в стимулировании атмосферы национального и расового соперничества. Но мы должны помнить, что биогеографическая модель “*вмешательства и истребления*” могла использоваться и эволюционистами, которые *не* являлись дарвинистами...» (с. 119); «...метафоры экспансии и завоевания могли использоваться независимо от теории естественного отбора. Рассуждения на тему “выживания наиболее приспособленных” среди биологических видов или рас не требует веры в естественный отбор...» (с. 118). Таким образом, конкурентная борьба в культурном пространстве XIX века имеет множество ракурсов; она предстает как метафора, идеологема, научная гипотеза и историческая фактичность эпохи.

Можно назвать целый ряд разнородных и сложно организованных феноменов, питавших «манифестируемые» социал-эволюционистские идеи:

дарвинизм, отвечающий классическому представлению о борьбе за выживание; ламаркизм; этика *laissez-faire* капитализма; конкретные исторические модели завоевания и колонизации; наконец, «вечные метафоры», составляющие некий общий источник, базовый слой умонастроений эпохи. Социал-дарвинизм, рассмотренный с точки зрения его истоков и идей, превращается в довольно размытую номинацию «борьбы», в рамках которой одни авторы делают акцент на «естественном отборе», другие — на межвидовой борьбе (идея, занимающем далеко не центральное место в дарвиновской теории эволюции), третьи — на селективном давлении среды. Последняя, аутентично дарвиновская идея, развернулась в метафору «единства человечества в борьбе с условиями окружающей среды» (с. 115). В этом случае дарвинизм служит обоснованию этики кооперации. Данное направление в социал-дарвинизме, провозглашающее необходимость объединения человечества в борьбе с природой, известно как реформаторское крыло дарвинизма. Уже этот факт, подчеркивает П. Боулер, свидетельствует о недопустимости трактовки социал-дарвинизма как единого социально-философского направления (с. 115-116).

Наконец, последний принципиальный момент, который должен быть принят во внимание при анализе социал-дарвинизма, связан с пересмотром его истинной роли и влияния на интеллектуальную и политическую жизнь XIX-начала XX столетия. Детальному изучению «мифа, сконструированного историками» (с. 6), посвящена работа Петера Вейнгарта «"Борьба за существование": отбор и удержание метафоры». Из возможных направлений метафорического трансфера Вейнгарт особое внимание обращает на перенос метафоры из науки в обиходный лексикон. Судьба дарвиновской метафоры борьбы является в этом отношении показательным примером, имеющим к тому же особое значение в контексте европейской истории XX века. Петер Вейнгарт ограничивает свой анализ рамками Германии, что обосновано не только очевидными историко-политическими соображениями, но и не столь очевидными лингвистическими. Дело в том, что метафора борьбы за существование (дарвиновское «struggle for existence»), зазвучавшая в немецком переводе как *Kampf ums Dasein*, приобрела еще более агрессивный модус, чем присущий ей изначально. Здесь важно принимать во внимание дарвиновский терминологический контекст, в котором «борьба за существование» и «борьба за жизнь» звучат как равноценные и взаимозаменяемые понятия. Обозначенные понятия, в понимании Дарвина, объединяли в себе два смысла, а именно: индивидуалистическую борьбу между членами одного и того же вида и борьбу за существование, которую виды ведут в специфических экологических условиях в окружении других видов. Для того, чтобы передать эти смысловые нюансы, дарвиновское «struggle for existence» следовало бы, по мнению П. Вейнгарта, перевести как *Kampf ums Leben* или даже *Kampf ums Überleben*. Эти метафоры смогли бы точнее отразить «обобщенную идею неосознанной борьбы за выживание в естественной среде, в то время как *Kampf ums Dasein* предполагает индивидуальный, осознанный и в конечном счете летальный конфликт. В этой коннотации метафора напоминает гоббсовское «*bellum omnium contra omnes*» « (с. 130-131). Первые метаморфозы дарвиновских идей произошли, когда Х. Браун в переводе подзаголовка «Происхождения видов», который в оригинале звучит как «сохранение

приспособленных рас в борьбе за жизнь» («the preservation of favored races in the struggle for life»), предложил для английской лексической конструкции «favored races» немецкий вариант «*vervollkommnete Rassen*», что означает «усовершенствованные расы». Последующий перевод, сделанный В. Карусом в 1867 г., исправил неточность, но первая смысловая коррозия дарвиновской идеи борьбы уже прозвучала. «Искажение было завершено комбинацией идеи совершенствования («perfection») и метафоры борьбы в понятийную конструкцию «*Vervollkommnung durch den Kampf ums Dasein*» (совершенствование через борьбу за существование) — это возводит метафору на нормативной и инструментальный уровень, что позднее проявилось в евгенической стратегии “улучшения человеческой расы путем устранения неприспособленных”, — пишет П. Вейнгарт (с. 131).

В стремлении понять реальный смысл и контекст дарвиновской метафоры, в ее возвратном движении из науки в общественную жизнь П. Вейнгарт обращается к различным аспектам немецкой общественно-политической жизни второй половины XIX века. В поле его зрения оказываются наиболее популярные периодические издания, дающие отражение общественных тенденций времени. Проследившая судьбу дарвиновских идей в научно-популярной и общественной печати, П. Вейнгарт приходит к выводу, что их циркуляция происходила по законам моды: «Популярность дарвинизма угасала по мере все более широкого его распространения; и его использование как идеологии не ограничивалось одной группой, интересам которой он соответствовал, но, наоборот, он использовался многими группами, которые интерпретировали его по своему усмотрению» (с. 135). П. Вейнгарт показывает разнообразный и противоречивый контекст, в котором разворачивались дарвиновские идеи: история человечества и общая теория живых существ, история научных идей и концепции клеточного развития. Биологические аналогии привлекались для защиты как аристократических, так и социалистических принципов; они выступали для обоснования «естественно-научного» закона войны и закона объединения. При всей широте контекста использования дарвиновских идей, в анализируемый автором период политические интерпретации дарвинизма не только не доминировали, но, скорее, были исключением. В популярной периодике и общественных дебатах того времени преобладали философские эссе о границах применения эволюционной теории в этике, истории идей и т. п. «Столь широкое и повсеместное использование дарвиновских понятий делает проблематичным, если вообще возможным, заключение о специфическом влиянии данной теории, инструментальном или легитимирующем, — считает Вейнгарт. — Похоже, общим знаменателем выступает другой аспект: обращение к авторитету науки и естественных законов было нужно для того, чтобы укрепить доверие к иным идеям, взглядам и аргументам» (с. 135).

В 1900 г. анонимом (полагают, что это был Крупп) был объявлен конкурс, тема которого была сформулирована длинно и поучительно: «Какие уроки можно вынести из теории происхождения видов, принимая во внимание внутреннее развитие и законодательство государств?». Большинство авторов статей, представленных на конкурс, весьма осторожно относились к применению дарвиновской теории к обществу. Некоторые из них отстаивали версии государственного социализма и механизмы социальной защиты. Во

всяком случае, несмотря на приверженность биологической проблематике, они оставались «преданными гуманистическим ценностям, что следует учитывать при проведении параллели между социал-дарвинизмом и нацизмом» (с. 3).

П. Вейнгарт рассматривает и другие стороны общественно-политической жизни, с которыми часто ассоциируются эволюционно-биологические аналогии. Он обращает внимание на эволюционные метафоры в милитаристской идеологии и практике, политике колониализма, сфере торговли и коммерции — то есть в тех областях, в которых, казалось бы, прежде всего следует ожидать явного негативного влияния социал-дарвинистских идей. Между тем, анализ риторики XIX века показывает, что к тому времени генерализованная *Kampf*-метафора воспринималась независимо от ее первоначального дарвинистского контекста. «"Конкурентная борьба" («*konkurrenzkampf*») между классами, нациями, людьми, пароходными линиями (*shipping lines*) за продовольствие и мировые рынки, лежала в основе доминирующей терминологии» (с. 138). «Значение слова "борьба" стало столь широким, что оно перестало отличаться от "состояния". Так, можно было прочитать об эскимосах, которые ведут борьбу за существование в Арктике, миллионах китайцев, делающих то же самое в условиях жизненной зависимости от сельского хозяйства, "даже если эта борьба не что иное, как борьба с овощами"» (с. 137). Базируясь на широком круге исторических и литературных источников, П. Вейнгарт приходит к выводу, что «разнообразные публичные дискуссии, которые обычно ассоциируются с социал-дарвинизмом, в действительности обнаруживают незначительное его влияние, или вообще такового влияния в них не прослеживается». В подкрепление своего вывода П. Вейнгарт приводит мнение А. Келли: «"Социал-дарвинизм", в какой бы форме мы его ни взяли, никогда не имел массовой популярности. Незначительное число тех авторов, которые много говорили о борьбе и расе, имели столь несущественное и неоднозначное отношение к дарвинизму, что "было бы абсурдом называть их социал-дарвинистами"» (с. 139). Так, один из наиболее известных «социал-дарвинистов» того времени, Ф. Ратцель в действительности резко возражал против дарвиновской теории естественного отбора, характеризуя ее как «непродуманную («сырую») гипотезу о выживании в борьбе за существование наиболее приспособленного». Ратцель часто идентифицируется как социал-дарвинист потому что он ввел термин «жизненное пространство» (*Lebensraum*), который стал метафорой колониализма и германского экспансионизма. В действительности Ратцель лишь реинтерпретировал дарвиновскую *Kampf*-метафору в мальтузианском смысле: «борьба за существование» должна быть, по его мнению, борьбой за жизненное пространство между живущими организмами» (с. 139). Таким образом, социал-дарвинизм имел малое отношение к проблематике, которая традиционно считается социал-дарвинистской. «Трансфер метафоры из науки в публичные и политические дебаты связан с потерей ее подлинного смысла, или, точнее сказать, потерей всех смысловых связей», — пишет П. Вейнгарт (с. 129). Интересно, что, в отличие от метафоры *Kampf ums Dasein*, которую можно было проследить во всех возможных контекстах и вне какой-либо связи с теорией Дарвина, популярный дарвинизм имел свою собственную и отличную от «социал-дарвинизма» судьбу.

«К началу Первой мировой войны он приобрел многомиллионную читательскую аудиторию не в последнюю очередь благодаря сочинениям Вильгельма Бёльше, чье прочтение Дарвина убеждало в том, что природа демонстрирует не только жестокую борьбу за существование, но сотрудничество и любовь, особенно на более высоких уровнях эволюции» (с. 140).

Таким образом, анализ исторической судьбы метафоры «борьбы» и связанного с ней феномена социал-дарвинизма заставляет пересмотреть утвердившиеся в науке взгляды по крайней мере по четырем пунктам. Во-первых, можно считать условным понятие социал-дарвинизма, которое служит своего рода обозначением целого ряда весьма разнородных идейных течений. Второй принципиальный момент связан с реабилитацией исторической роли теории Дарвина и дистанцированием ее от социал-дарвинизма. Как показывают авторы сборника, собственно «дарвинизма» в социал-дарвинизме значительно меньше, чем принято считать. В действительности дарвиновская метафора борьбы, послужившая становлению социал-дарвинизма, очень быстро оторвалась от своего первоначального научного контекста. Более корректно понимать эту метафору в общем «состязательном» характере эпохи (что отчасти объясняет исторические истоки и самого дарвинизма). В-третьих, социал-дарвинизм никогда не пользовался такой массовой популярностью, как это было позднее представлено в истории общественной мысли. В-четвертых, будучи весьма умеренным течением, социал-дарвинизм не находится в прямой связи с расистской идеологией и нацизмом, что, впрочем, не означает отрицания его «вклада» в трагедию европейской истории XX века. Многие исследователи, занимавшиеся исторической реконструкцией социал-дарвинизма, сходятся во мнении, что его сегодняшний образ в науке похож на искусственный и идеологически предвзятый миф. Так, Баннистер разоблачает миф об американском социал-дарвинизме, утверждая, что мнение, согласно которому дарвинизм широко и безудержно использовался силами реакции, не соответствует фактам. А. Келли пришел к аналогичным результатам, изучая «социал-дарвинизм» в Германии. Здесь миф о социал-дарвинизме как предшественнике национального социализма был распространен историками науки Д. Манном и Х. Конрадом-Мартинусом, социологами Д. Лукачем и Х. Плессером. Заслуживает внимания точка зрения Белломи (Bellomy), который усматривает причину создания мифа о социал-дарвинизме в стремлении части историков «распределить вину за империализм и установить более широкие границы ответственности за Гитлера и Освенцим» (с. 145-146).

Каковы бы ни были новейшие переоценки роли и самого существа социал-дарвинизма, в истории социологии данный феномен принято связывать с именем Герберта Спенсера. Мы уже отмечали, что истинный смысл и нравственный пафос спенсеровского «социал-дарвинизма» прямо противоположен тому, что ему обычно приписывают. Материалы раздела «"Эволюция" и "организм"», способствуют более глубокому и нюансированному пониманию научной позиции Спенсера. В статье «Значение понятий "организм" и "эволюция" в концепции разделения общественного труда Эмиля Дюркгейма и влияние Герберта Спенсера» П. Хейль анализирует философию Спенсера сквозь призму ее развития и трансформации в социологической системе Дюркгейма. Работа А. Ла Вергаты «Герберт Спенсер: биоло-

гия, социология и космическая эволюция» фокусирована на анализе ранней работы Спенсера «Социальная статика». Содержащиеся в ней оценки и выводы вполне созвучны оценкам и выводам Хейля, поэтому представляется уместным дать суммарный обзор этих публикаций. Адекватное понимание Спенсера, по мнению обоих авторов, связано с признанием общефилософского характера его позиции, в которой физикализм присутствует более явно, чем биологическое начало. «Хотя Спенсер рассматривается как своего рода прототип социал-дарвиниста, его пресловутый социал-дарвинизм едва ли вовсе является дарвинистским, так как корни его взглядов на эволюцию лежат в таких специфических элементах его мысли, которые мешают ему быть дарвинистом, — рассуждает Ля Вергата. — В конечном счете, именно физика, а не биология представляет конечную модель научной достоверности в глазах Спенсера. Он пытался редуцировать биологические объяснения к физическим терминам. Следовательно, фокусироваться только на отношениях между его социологией и его биологией значит работать с проблемой на поверхностном уровне» (с. 196).

Социологический дискурс пронизан биологическими понятиями — это общеизвестно и тривиально. Однако вторжение биологии в сферу социального анализа может быть рассмотрено в нескольких независимых ракурсах. Далеко не всегда мы имеем дело лишь с терминологическим заимствованием или метафорическим описанием. Серьезный пласт социобиологического анализа связан с изучением конкретных механизмов жизнедеятельности на разных уровнях социальной интеграции — в этой плоскости формируется сегодня исследовательская программа социальной этологии и этологии человека. В качестве отдельного самостоятельного ракурса социобиологического анализа выступают универсальные системные описания. Именно последний подход наиболее продуктивен для понимания позиции Г. Спенсера и той роли, которую в его системе играет метафора организма. Отдельные высказывания Спенсера звучат вполне в кибернетическом духе: «Между обществом и любой иной системой («чем-либо еще» — anything else) единственно возможное сходство есть то, что обязано своим происхождением *параллелизму принципа в расположении компонентов...*»; «Неопределенная и Вечная Энергия проявляет себя всегда и везде в формах, различающихся по результатам, но неизменно одинаковых по принципу» (с. 222). Хейль и Ля Вергата показывают, что аутентичное прочтение Спенсера возможно только на основе его правильного «позиционирования» в науке XIX века. Социология, биология, физика — лишь частичные сферы исследовательского интереса британского ученого. Спенсер — прежде всего моральный философ, как это ни противоречит его устоявшейся репутации циничного социал-дарвиниста. Универсализм и гуманистический оптимизм — таковы доминанты спенсеровской социологии. Приоритет, по всей вероятности, следует отдать второму принципу; именно на базе последнего возможно понимание всего теоретического замысла Г. Спенсера. Глубоко заложенный гуманистический императив направлял мировоззренческие поиски ученого, и задача его обоснования привела Г. Спенсера к теме космической эволюции. Спенсеровский эволюционизм, считает А. Ла Вергата, по своей природе и происхождению является философским, не биологическим, возникает из морального и политического контекста и основан на вере в человеческую

способность к совершенствованию и неумолимость поступательного развития мира (с. 204). Этого же мнения придерживается П. Хейль. Он пишет, что Спенсер является философом, и его главный интерес имеет не столько научную, сколько политическую и нравственную природу. Эволюционные принципы в основном уже сформулированы Спенсером до его внимательного ознакомления с биологией в 1852-1853 гг., и концепция эволюции основана на убеждении, что общества и люди претерпевают изменение, которое может быть «названо» (labeled) прогрессом (с. 161). Убежденный в неумолимости, предопределенности прогресса, Спенсер конкретизировал его в идее «прогрессивной адаптации к окружающим обстоятельствам». Это и есть «основной принцип жизни» как в органическом мире, так и в жизни человеческого общества. Он позволяет верить в нарастающую гармонизацию взаимоотношений внутри человеческого сообщества, а также между людьми и их природным окружением. «Веря в человеческую способность к совершенствованию, Спенсер утверждает, что счастье буквально за углом, если не за этим, то за следующим...» (с. 205). П. Хейль тонко замечает, что «идея прогресса и его цели могут быть поняты как слегка секуляризированные теологические убеждения. Они имеют даже кальвинистский привкус, если принять во внимание моральный пафос спенсеровского учения, особенно когда он защищает либерализм» (с. 161). Протестантские корни мировоззрения Спенсера исключительно важны для понимания и оценки его социальной-философской позиции. Поэтому утверждение о ламаркистском происхождении спенсеровской философии кажется несколько поверхностным — это, конечно, правда, но не вся правда.

Показательно, что средства для рационализации истории и социальных событий обнаруживались Г. Спенсером, как и многими другими мыслителями, во френологии и затем, когда френология была отвергнута, в космической эволюции (с. 203). Р. Янг показал, что, хотя Г. Спенсер никогда не использовал слова «френология» и нет прямой текстуальной связи между его формулировками и формулировками Галля (Gall), Шпурцхайма (Spurzheim) и Комба (Combe), именно френологии он обязан идеей, что человек есть «скопление способностей», что органы и способности развиваются при их использовании и атрофируются при неиспользовании. Последней идее было суждено определить концепцию органической эволюции в творчестве позднего Спенсера, и было бы ошибочно считать, что она заимствована непосредственно у Ламарка (с. 202). Известно, что Спенсер решительно не принял открытие Вейсмана, которое подрывало самые основы его системы. Действительно, «если Вейсман прав, индивидуальное и расовое улучшение посредством образования и аккумуляции опыта было бы практически невозможно. Это центральный пункт спенсеровской атаки на Вейсмана. Общество материально связано с природой через кровь и нервы людей. Идея природно-культурного континуума и благотворной солидарности тела и ума, идея о том, что ментальные, моральные и социальные феномены являются продолжением биологических и физических феноменов и управляются теми же законами, были новыми версиями старого постулата естественной теологии о благотворном промысле природы» (с. 224-225). Анализ мировоззренческих корней спенсерианства способствует более адекватной его оценке. Рассмотрение внешних, «культурно-средовых», факторов помогает увидеть позицию

Г. Спенсера в ее естественно-историческом окружении. Здесь необходимо принимать во внимание два обстоятельства: господство механистически-каузального взгляда на мир (о нем пишет Л. Дастон) и отсутствие современной дифференциации наук, допускавшее свободное «хождение» биологических (по сути, универсальных) метафор и проникновение их в различные дисциплинарные пространства. Оба эти обстоятельства акцентированы в статье А. Ла Вергаты: «Хотя спенсеровский ламаркизм объясняет его отличие от Дарвина, он не объясняет всего. Спенсеровское упорство в вопросах наследования благоприобретенного и прямого равновесия есть только один, наиболее явный аспект чего-то более глубокого, что не идет от Ламарка, но было общим для Ламарка, Спенсера и большинства неоламаркианцев; ствол, ветвями которого все они являлись, было стремление объяснить биологические феномены любого уровня в соответствии с физической и детерминистской моделью. Поразительным следствием этого объяснения было общее отрицание случайной вариации. Универсальный детерминизм не допускает исключений. Амбиции заключались в том, чтобы не оставить дыр в реконструкции вселенной в терминах материи, движения и силы» (с. 224). У Спенсера вполне прозрачно прочитывается физический редукционизм, его книга «Принципы биологии» наполнена примерами из механики, а также конструкциями типа «рассеяние (диссипация) сил», «количество силы», «прикладываемая сила», «импульс силы» (*momentum*), «расходование (сил)», «работа» (с. 220).

Показательна в этом отношении история распространения термина «the survival of the fittest». Известно, что Дарвин принял, по предложению Уоллеса, спенсеровскую фразу «выживание наиболее приспособленного» как альтернативу его собственного термина «естественный отбор». Для Дарвина и Спенсера первое выражение было более точным, чем последнее, и более буквальным описанием феномена приспособления. Но Дарвин не заходил так далеко, как Спенсер, который считал необходимым переопределить естественный отбор в чисто физических терминах, чтобы включить его в свою космическую эволюцию, управляемую законами материи и движения (с. 222). Второе обстоятельство, важное для понимания общего фона спенсеровского учения, связано с недифференцированностью отраслей науки XIX века. Сама наука еще не была отчетливо отделена от публичного знания. Социальные и политические рассуждения Спенсера были неразрывно связаны с биологической тематикой. Это не означает, что объяснительные модели и язык были заимствованы из биологии. Спенсер рассматривал проблемы эволюции как проблемы универсального характера. Поэтому спенсеровский эволюционизм неверно интерпретировать с точки зрения современных дисциплинарных различий, и многие понятия, которые являются сегодня метафорами, не воспринимались как метафоры Спенсером. «Разговор о метафорах предполагает ясно очерченное различие между установившимися дисциплинами, — пишет А. Ла Вергата. — На ничейной земле нет метафор, равным образом их нет на пересекающихся или пограничных территориях» (с. 198).

В свете сказанного становится понятно, почему Дюркгейм, при всей его аутентичной социологичности, оказывается более биологичен, чем Спенсер. Именно этот тезис развивается в статье П. Хейля. Проследивая линии «био-

логической» преемственности между Дюркгеймом и Спенсером, он останавливается на тех пунктах, в которых их позиции расходятся. «Дюркгеймовское объяснение социальной эволюции определенно инспирировано спенсеровским органицизмом и эволюционизмом, хотя имеет место существенная модификация, связанная с поворотом от физического к социальному окружению, — отмечает П. Хейль. — Дюркгейм взял у Спенсера то, что Спенсер взял из эмбриологии Бэра: социальная эволюция есть переход организмоподобного единого целого (entity) из недифференцированного гомогенного к дифференцированному гетерогенному состоянию. Весь процесс моделируется как развитие зиготы во взрослый организм» (с. 168). Центральное для социологии Дюркгейма понятие «коллективного сознания» («collective consciousness») имеет в своей основе глубоко заложенную органическую метафору, которая, в свою очередь, содержит «встроенные» каузально-механические принципы действия. Природа механической солидарности может быть рассмотрена по аналогии с физической «солидарностью» членов животных колоний, в которых «любое движение или действие одной из их частей осуществляется буквально механически. Физические связи между членами животных колоний, которые гарантируют их солидарность, становятся, в случае обществ, распределенным знанием о мире и о самом обществе — коллективным сознанием. Фактически, Дюркгейм рассматривал формирование коллективного сознания как механический процесс, обязанный своим существованием отсутствию социальной дифференциации и, следовательно, дифференцированной практики. Вынужденный объяснить, как физически независимые индивиды формируют определенную разновидность суперорганизма, Дюркгейм заменил физические узы когнитивными процессами, которые имеют схожий поведенческий эффект, — коллективным сознанием. Поскольку он верил, что когнитивные процессы могут быть объяснены каузально и что они генерируются физической системой, от которой зависят, он немало не колебался в их объяснении как “механизмов”» (с. 178-179). Таким образом, полагает П. Хейль, организмическая метафора при объяснении механической солидарности является не просто метафорой, а концептуальной моделью, помогающей установить связи между уровнем общества и уровнем индивида (с. 179). Другая организмическая модель, уместная, по мнению П. Хейля, для «парадигмального» понимания социологии Дюркгейма, — это модель коалесценции: «”привязка” понятия коллективного самосознания к истокам образования общества фактически создает аналогию между слипанием (коалесценцией) двух клеток в зиготу и формированием социального целого или протообщества. В обоих случаях возникает новое единое целое» (с. 169).

Несомненной заслугой Дюркгейма является развертывание проблемы «социум/индивид». Организмическая аналогия, считает П. Хейль, наиболее убедительна. Она выполняет функцию правдоподобной модели и источника вдохновения для тех, кто пытается концептуализировать целое, состоящее из взаимодействующих частей (с. 164). «Новое, что привнес Дюркгейм, на фоне предшествующих дискуссий, в том числе учения Спенсера, заключается в том, что он преодолел дуализм общества и индивида... Дюркгейм заменил традиционный дуализм отношением “круговой причинности” (circular-causality)» (с. 166), подчеркивающим момент интеракции и взаиморегуляции

уровней индивида и общества. Эта модель, которую П. Хейль называет сетевой (network-like) концепцией, в различных модификациях неоднократно воспроизводилась в социологической теории, и ее черты просматриваются в авторитетных социологических концепциях современности. Дюркгейм более «биологичен» не только в понимании природы общественных связей, но и в вопросе о роли государства. Как известно, Спенсер полагал, что по мере развития общества роль государства должна уменьшаться. Это мнение противоречит логике организмической метафоры, поскольку эволюционное развитие биологических организмов сопровождается повышением регулирующей роли центральной нервной системы. Дюркгейм, видевший в недостаточности центрально-регулирующих функций одну из экономических проблем своего времени, более последователен в развертывании организмической аналогии (с. 176). Наконец, понимание общественного развития, которое проводил Дюркгейм, более соответствовало биологическим представлениям конца XIX века, чем ламаркистский эволюционизм Спенсера. П. Хейль замечает, что «поскольку Дюркгейм отверг комбинацию утилитаризма и индивидуализма, которая была характерна для эволюционного мышления Спенсера, он обратился к Дарвину. Это позволило ему ввести дарвиновский «принцип дивергенции»..., который допускает концепцию дифференцированного развития без принятия спенсеровского допущения о роли индивидуумов...» (с. 170). Различия между системами Дюркгейма и Спенсера легко понять, если принять во внимание эпистемологические «референциальные рамки», в которых они создавались. В то время как философия Спенсера носит генерализующий и, в значительной степени, морально-телеологический характер, последовательная социологичность Дюркгейма объясняет «чистоту» и непротиворечивость организмической логики, лежащей в основе его концепции. «Почему Дюркгейм был ближе к «организмической модели», которую он взял главным образом у Спенсера? Простой ответ заключается в том, что Дюркгейм нуждался в ней больше, чем Спенсер... Дюркгейм нуждался в модели, которая могла бы помочь ему понять функционирование целого, состоящего из частей...» (с. 177).

Рассмотренные историко-социологические аномалии позволяют сформулировать некоторые заключения обобщающего характера. «Как и любая история, — пишет А. Ла Вергата, — данное исследование имеет свою мораль: а именно: не все то, что кажется метафорой, является метафорой в действительности. То, что является метафорами для нас, не является с необходимостью метафорой для других; в некоторых случаях метафоры могут выполнять свои функции (иллюстративную, эвристическую, конструктивную, аффективную, убедительную, дидактическую, аргументативную и т. п.) потому, что автор, который использует их, выдвигает их как *буквальные описания*, и верит в то, что они таковы и есть. Наконец, к многочисленным функциям метафор... мы, как представляется, должны добавить еще одну: *моральную* функцию, поскольку роль, которую играет метафора в системе знания, часто лучше объясняется ее моральным контекстом, нежели концептуальным...» (с. 193).

П. Хейль пишет, что организмическая метафора Спенсера-Дюркгейма не получила должного развития в социологии. Акцент на целостном характере социального организма приводит к тому, что социологи упускают из

рассмотрения внешние факторы развития, «пренебрегают характеристиками, которыми не пренебрег бы ни один биолог, говоря о развитии и/или эволюции организмов: развитие и эволюция любого органического целого осуществляется в среде, и онтогенетическое развитие подходит к своему концу или с достижением взрослой стадии, или со смертью организма. Поскольку общества, как правило, рассматриваются как вечно существующие и дифференцирующиеся единства, изменения, которые происходят вследствие взаимодействий с другими сообществами, игнорируются. В действительности эти взаимодействия ведут к определенным эффектам как на уровне организмов, так и обществ. Эти эффекты могут варьировать от смерти в физическом смысле до культурного истребления, нарастания, интеграции, возникновения социального и культурного разнообразия. Следовательно, мы имеем дело с разновидностью дифференциации и внутреннего разнообразия, которая не детерминирована исключительно внутренними причинами, хотя и не независима от них. Конечно, теории Спенсера и Дюркгейма помогают концептуально интегрировать внешние и внутренние причины социального изменения. Но спенсеровское объединение индивидуализма и источников социального роста и дюркгеймовская критика Спенсера вместе с акцентом Дюркгейма на коллективном сознании вызвали активное обсуждение именно данной дихотомии, а не развитие интеграционного подхода» (с. 180).

Проблема внешних/внутренних факторов развития актуальна не только для социологии. В теоретической биологии эта дилемма предстает как спор между сторонниками синтетической теории эволюции и номогенеза. «Дарвинизм знает лишь одну детерминанту эволюционного процесса, — пишет Н.С. Мещерякова. — Это естественный отбор... Номогенез открывает вторую сторону, вторую детерминанту, не менее важную, способную высветить внутреннюю активность живого и сделать первый шаг к постижению эволюции в ее закономерной направленности». Номогенез «возводит закономерное развитие к внутренним, эндогенным факторам биологической (или любой другой) формы организации. Целое, или морфе... есть основная детерминанта формообразования, все закономерности которого заданы целым и в том или ином виде в этом целом содержатся. Это... частичная истина номогенеза... Частичность ее связана с полным игнорированием внешнего мира, который оказывается лишь материалом, вовлекаемым в процесс эндогенного формообразования» [3, с. 142]. В рамках настоящего обзора было бы излишним вдаваться в дискуссии между эктогенетиками (дарвинистами) и сторонниками аутогенетического принципа. Заметим только, что сама проблема внешних/внутренних доминант развития может быть понята как проблема, которая имеет принципиально общие решения как в биологической, так и социологической теории.

Сборник представляет собой подборку текстов, по-разному освещающих роль организмической метафоры, в том числе в сфере, в которой она, казалось бы, менее всего является метафорой. Статья С. Митчелл «Суперорганизмическая метафора: вчера и сегодня» («The Superorganism Metaphor: Then and Now») служит примером неверной трактовки биологической реальности, в значительной степени заданной неадекватной метафорической моделью. Реальностью в этом примере является общественная жизнь насекомых, метафорой — понятие суперорганизма. Метафору суперорганизма

ввел в 1911 г. Уильям Уилер, исследовавший социальных насекомых и нуждавшийся в концептуальном объяснении феноменов кооперации и «взаимопомощи» (с. 236). Понятие взаимопомощи в социальной теории представляет собой сильную аллюзию на П.А. Кропоткина. С. Митчелл высказывает предположение, что «техасские ландшафты, на фоне которых развивалась приверженность Уилера тематике социальных насекомых, в географическом и демографическом отношении больше напоминали Сибирь Кропоткина, чем Лондон Дарвина» (с. 237). С. Митчелл оговаривается, что это не более чем смелая гипотеза, не имеющая достаточного обоснования.

Концепция суперорганизма У. Уилера противостояла эктогенетической селекционистской модели Дарвина, ориентированной на внешние факторы природной регуляции. Не получившая должного развития и преданная забвению (и даже, как утверждает С. Митчелл, анафеме), идея суперорганизма получила второе рождение в начале 1980-х годов в работах исследователей социальных насекомых, — в том числе Э. Уилсона и Ч. Ламсдена. Анализируя книгу энтомологов Д. Уилсона и Э. Собера «Возрождение суперорганизма» (1989), С. Митчелл показывает, как понятие суперорганизма используется для обоснования иерархической теории отбора. Как известно, дарвиновская теория отбора имеет дело с индивидом. Между тем, уже давно предпринимаются попытки ввести более высокие уровни биологической организации — группы, виды или, как в рассматриваемом случае, суперорганизмы в качестве возможных объектов естественного отбора. Д. Уилсон и Э. Собер утверждают, что отбор на этих уровнях возможен не только теоретически (с. 240).

Суперорганизмическая модель предполагает, по Д. Уилсону и Э. Соберу, отсутствие конкуренции между генетически различными членами колонии. Однако в большинстве случаев конкуренция существует. Так, исследования медовых пчел показывают наличие конкуренции как между самцами — за спаривание с царицей, так и между различными подсемействами за право воспроизводства цариц (с. 241). «Среди социальных перепончатокрылых насекомых самки развиваются в цариц или рабочих особей в зависимости от того, что они едят. Если рабочие, которые кормят личинок, способны распознавать тех, кто более тесно связан с ними, то есть членов своих собственных подсемейств, тогда между индивидами различных подсемейств может возникнуть конкуренция, вследствие которой личинки будут вырастать в цариц или рабочих... Эмпирические исследования с медовыми пчелами показывают, что при определенных экспериментальных условиях рабочие пчелы обладают способностью различать личинки» (с. 241). Таким образом, утверждает С. Митчелл, колонии социальных насекомых в большинстве случаев не выдерживают сравнения с суперорганизмом (с. 243). Чтобы сообщество можно было квалифицировать как суперорганизм (по Уилсону-Соберу), оно должно иметь единственную царицу, которая спаривается с единственным самцом, при этом рабочие особи колонии должны быть лишены функциональных яичников. «Надо признать, — оговаривается С. Митчелл, — что некоторые виды муравьев удовлетворяют этому идеалу; однако они представляют только небольшую фракцию среди разнообразных видов колоний социальных насекомых» (с. 244). Суперорганизмическая метафора оказывается, таким образом, неуместной, не способной высветить клю-

чевые черты социальной жизни общественных насекомых. Действительно, суперорганизм Уилсона-Собера ничем не отличается от индивидуального организма, кроме простой замены составляющих элементов, что несущественно с точки зрения функционирования целого. «Индивидуальная одноуровневая теория, которую они отвергают, выдвигая суперорганическую метафору, просто заменяется групповой одноуровневой теорией, и это затмевает многообразные уровни, на которых отбор может и в реальности действует в сообществах социальных насекомых» (с. 241).

В исследовании Г. Митмена «Определение организма в государстве всеобщего благосостояния: формирование индивидуальности в американской культуре, 1890-1950 гг.» прослеживаются параллели между биологическими дискуссиями и американской политической мыслью конца XIX—первой половины XX столетия. В биологии главное направление поиска заключалось в переходе от организма к клетке. В сфере социально-политической мысли идея общего блага утрачивала доверие и утверждался приоритет личности. Автор статьи не сводит развитие исследовательской программы биологии к социально-политическим реалиям, но сама постановка вопроса обнаруживает типичную редукционистскую схему социологии знания — обнаружить за призрачной идеей реальный интерес. Не воспроизводя всех деталей этого исторического сюжета, отметим несколько его ключевых пунктов. Чарльз Уитмен в 1890 г. адресовал научному сообществу послание, в котором перевернул организмическую метафору, распространявшуюся в американской социальной науке в 1880-е и 1890-е годы. «На том же основании, на котором социолог утверждает, что общество есть организм, — писал Ч. Уитмен, — биолог заявляет, что организм есть общество» (с. 255). Эта метафора, настаивал Ч. Уитмен, основана не на поверхностных сходствах причудливого воображения, а на аналогиях, которые лежат в самих основаниях органического и социального существования. В ранней истории жизни на земле клетка, согласно Уитмену, имела «независимую кочевую жизнь». Такие примеры могут быть найдены в Протозое. Разделение труда и принесение в жертву личной независимости во имя физиологического единства были решающими шагами в эволюционном восхождении. Начало такой «композиционной личности» может быть обнаружено в колонии *Volvox*, которую Уитмен рассматривает как вероятную предшественницу всей более высокой растительной и животной жизни. «Однако уроки, которые колония *Volvox* предложила Протозою, были потеряны в американском обществе» (с. 255-256), и Уитмен усиленно старался напомнить о них согражданам.

Напоминания эти вполне соответствовали духу времени. «В 1910-х годах, — отмечает Г. Митмен, — американская политическая и социальная риторика была украшена не столько понятиями индивидуальной автономии и прав, сколько страстными призывами к общественной воле (*public will*) и общему благу (*common good*)» (с. 262). Ситуация начинает меняться в 1920-х годах. Благодаря публицистической работе У. Липпмана, общественность открыла, что *public will* есть ничто иное, как дымовая завеса, прикрывающая прямое политическое манипулирование. Решающее значение здесь, конечно, имели эмпирические изучения электората, который, как оказалось, большей частью представлял собой «необразованную публику, чьи действия форми-

ровались преимущественно неосознанными и иррациональными побуждениями, а не рациональным и разумным поведением. Такие открытия не вполне соответствовали коммунитарным теориям индивида как социальной личности» (с. 265). Это не означает, что демократический реализм 1920-х годов полностью отверг идею «общественного блага». «Риторика Франклина Рузвельта... в 1933 г. была украшена призывами к “великому целому”... Но семена подозрения уже были посеяны» (с. 265-266). На фоне этих открытий идея социальной целостности утрачивает свою убедительность. Все большую популярность приобретала концепция генетического определения организма, основанная на клетке как базовой единице. Метафора «клетки» предлагала сильную и внятную модель, хорошо корреспондирующую с политической реальностью американской жизни. «В то время как риттеровская органическая персональность или чайлдовский динамический индивидуум так легко поглощались толпой, наследственность предлагала непроницаемое ядро для утверждения идентичности, не поддающееся воздействию даже внутри групповой жизни. Эрозия общественного блага (common good) в американском политическом дискурсе не угрожала генетическому определению индивидуальности, потому что самоидентичность не зависела от общества. В течение первых десятилетий XX века биологи, и среди них Уитмен, апеллировали к общему благу, указывая на общий наследственный материал, который связывает индивидов в органическое целое. Но эта социал-организмическая точка зрения не была обязательным условием генетического определения «я» (self), что становилось все более очевидным для биологов в межвоенные годы. Убери внешнее окружение — и наследственное ядро индивида останется. Это явно не случай определения индивида как личности, взятой в социальном контексте (situated self)» (с. 266).

Если Уитмен и другие биологи организмического направления защищали «позицию позитивной свободы, а именно, свободы найти свое место в социальном целом» (с. 269), то в 1930-1940-е годы происходит отход от риторики общего блага. В значительной степени это было реакцией на тоталитарную угрозу. В американском обществе развивается идея негативной свободы, свободы «от» — в частности, от «группизма», идеал индивидуальных прав и автономного развития личности (с. 269-270). Естественный отбор в этом идеологическом контексте интерпретируется как действующий «не на благо видов, но в интересах индивида. Руководствуясь идеей «нового синтеза», Дж. Симпсон, Т. Добжанский и другие защищали генетическую идентичность индивида как «столп биологической демократии» (с. 270). Сегодня, однако, и этот «столп» утрачивает функцию «несущей» биологической конструкции: «Последние технологические достижения в молекулярной биологии поставили под вопрос генетическую индивидуальность как гарантию автономии и прав личности» (с. 271); «наша индивидуальность вновь стала открытым вопросом» (с. 272).

Первоначальный эвристический потенциал организмической метафоры, развернувшийся в прямых и во многих наивных сопоставлениях общества и организма, конечно, исчерпан. Это обстоятельство может служить одной из причин стойкой идиосинкразии социологов ко всякого рода биологическим интерпретациям в сфере социального анализа. Вместе с тем, уподобление общества организму, а организма обществу будет, вероятно, порождать но-

вые гипотезы до тех пор, пока в социологии и биологии сохраняется авторитет холистской парадигмы анализа. Организмическая метафора есть интуитивное отражение системности живого организма, и, как многие первоначальные интуиции, идея органической целостности неоднократно утверждалась и отвергалась в истории человеческой мысли.

«Рассуждения о целостности ведутся в биологии в явном виде уже второе столетие; подразумевалось же это понятие уже в античной философии и даже раньше... И тем не менее или, правильнее сказать, именно из-за этой традиционности все, связанное с целостностью, очень часто наталкивается на прямое отторжение или на скрытую иронию со стороны биологов-эмпириков, которые «делают дело», раскрывают секреты природы и не имеют времени для пустых рассуждений», — замечает Л.В. Белоусов [4, с. 74]. Между тем, эмпирические исследования находят убедительные подтверждения этой древней интуиции. «Целое точнее судеб отдельных частей — к такому выводу пришли эмбриологи уже несколько десятков лет назад, и этот вывод не только не поколеблен, но, напротив, находит все новые подтверждения» [4, с. 76]. Современная молекулярная биология, досконально изучившая внутриклеточные процессы, обнаруживает новые феномены «при несравненно более грубом взгляде на живую клетку как на целостное образование... для того, чтобы знать, как прореагирует данная клетка, вовсе не надо проникать в мелкие детали ее строения: опытному цитологу достаточно для этого взглянуть на клетку под малым увеличением оптического микроскопа, или знать историю ее развития (из какого эмбрионального зачатка она произошла).

Иными словами, реакции клеток, какими бы тонкими и точными молекулярными механизмами они ни опосредовались, определяются на макроуровне, и не случайно в подобных случаях самые рафинированные молекулярные биологи начинают оперировать такими далекими от аналитической биологии понятиями как “контекст” и “метафора”» [4, с. 77]. Холистская, или «организмическая», объяснительная модель используется в различных областях знания. Она дает возможность представить структуру связей не только как результат коммуникации, но и как исходную общность. Подобная точка зрения развивается и в этологии животных. Опираясь на обширный эмпирический материал, Ю.М. Плюсин выдвигает гипотезу социальности, не возникающей эволюционно, но имманентной жизни [5].

Работы последнего раздела книги — «Экономикс» — демонстрируют возможности организмической метафоры в области экономического теоретизирования. В статье Т. Элборна «Чума в твоём доме: коммерческий кризис и эпидемическая болезнь в викторианской Англии» рассматривается викторианская традиция описания экономических кризисов в терминах медицинской патологии. В основе терминологического параллелизма, который существовал в трактовке медицинских эпидемий и экономических кризисов, лежала, безусловно, общая интеллектуально-мировоззренческая платформа. Эпидемии и коммерческая паника рассматривались в викторианской Англии как разные проявления божественной кары (с. 290). Людские пороки считались внутренней причиной как кризисов, так и массовых заболеваний. Постепенно развивались контагиозные версии, которые трактовали эти явления как результат действия внешних причин (с. 291). В рамках такого объясне-

ния банкноты, например, рассматривались как аналог фебрильного яда, влиявшего на коммерческое «здоровье» своих жертв (с. 294).

Исследования М. Морган и Д. Ходжсона представляют альтернативные точки зрения на эвристическую ценность биологических моделей в сфере экономического анализа. М. Морган, автор статьи «Эволюционные метафоры в объяснении американской промышленной конкуренции», рассматривает американскую промышленную историю периода «Большого Бизнеса» (времени образования картелей и олигополий) и приходит к выводу, что дарвиновские идеи внесли относительно скромный вклад в осмысление этих процессов. Новым феноменом, с которым столкнулись экономисты обозначенного периода, было появление больших фирм и развитие новых, не известных до того методов конкуренции. Старые экономические теории не могли объяснить этих явлений. «Для американцев проблема заключалась в том, чтобы объяснить, как происходит рост некоторых фирм в отдельных отраслях промышленности, и почему большие фирмы увеличиваются за счет мелких. Старые теории не могли предложить конкретной причины, объясняющей, почему конкуренция заставляет одни фирмы увеличиваться в размерах, а другие умирать» (с. 330). В этой ситуации эволюционные теории предоставили язык описания новых явлений: метафоры «борьбы за существование» и «выживания наиболее приспособленного» помогали концептуализировать проблематичные явления и систематизировать данные. «Эти метафоры могли быть использованы для интерпретации выживания больших фирм, исчезновения малых, жестокости конкуренции, свободной от социальных ограничений. Роль экономической конкуренции интерпретировалась как «естественный селектор». Тем не менее, — замечает М. Морган, — метафоры не создали новую экономическую теорию фирмы. Они были эффективны на уровне описания, но явно не смогли превратиться в новые теории или модели, в первую очередь потому, что “багаж”, который эти метафоры несли с собой из эволюционного учения, или не подходил для “экономикс”, или был недостаточно развит, чтобы быть пригодным для какого-либо использования» (с. 327). М. Морган рассматривает взгляды известных экономистов и социологов того периода, анализируя содержащиеся в них биологические интерпретации. Так, У. Самнер трактовал появление больших фирм как естественный отбор, который действует через экономическую конкуренцию. Поэтому фирма с капитализированными активами и хорошими менеджерами имеет больше возможностей для инвестирования и роста. «По Самнеру, конкуренция “развивает” существующие преимущества, в то время как в дарвиновской эволюционной биологии естественный отбор “сохраняет” преимущества» (с. 318). Другой экономист того времени Р. Эли, поддерживая идею экономического отбора через межфирменную конкуренцию, вносил существенные коррективы в механизм селекции. Согласно его взглядам, фирмы отбираются не путем «слепого» (unaided) естественного закона, но посредством человеческого участия (agency). «Конкуренция, — писал он, — есть главный селективный процесс в современном экономическом обществе, и посредством него мы имеем выживание приспособленного. Но что мы подразумеваем под “приспособленным”? ... Современное общество само устанавливает, осознанно или неосознанно, многие из условий борьбы за существование, и делом общества является создание таких экономических

условий, при которых только желательные социальные качества будут создавать исключительную приспособленность для выживания» (с. 319). Анализируя причины невысокой эвристической ценности эволюционных метафор, М. Морган отмечает, что они были связаны со старыми мальтузианскими экономическими теориями, имевшими дело с проблемами народонаселения и низкой заработной платы, но не с феноменом межфирменной конкуренции (с. 327). Понятия вида, происхождения, воспроизводства и вымирания, наследственности и инстинкта можно применять к живым организмам, но не к фирмам (с. 328). Утверждение У. Самнера, что экономическая конкуренция между фирмами то же самое, что биологическая борьба за существование, неоднократно оспаривалось. «Хорошо говорить о свободной конкуренции и выживании наиболее приспособленного. Но постоянная конкуренция возможна только тогда, когда неприспособленный может быть физически устранен — вещь, невозможная, например, в случае неприспособленной железнодорожной магистрали» (с. 322). Серьезное ограничение использования параллели между экономикой и эволюционной биологией М. Морган усматривает в несовпадении самих исследовательских подходов. Методы естественной истории были в определенной степени несовместимы с методами классической экономики, которая основывалась на априорных дедуктивных аргументах и общих правилах. Аналогичным образом, внимание классической экономики и более поздней маргинальной теории было направлено на универсальные законы, которые предполагали равенство всех экономических единиц. Принципиальные различия между субъектами экономического поведения выходили за рамки предмета исследования. А эволюционная биология имела дело преимущественно с временной и межиндивидуальной вариабельностью форм. Отсюда серьезное расхождение не только в методах, но и в самом подходе (с. 329).

Использование биологических аналогий заставляло экономистов размышлять об отличии конкуренции на рынке от ее биологического подобия. Наиболее простой и наглядный критерий подобного различия лежал в области моральных оценок. «Отличие экономического (или социального) от биологического было соотнесено с различием «нормальной», или «справедливой», экономической конкуренции и «ненормальной», или «несправедливой», индустриальной войны. Последняя связывалась с биологическим соперничеством; она включала хищническую политику цен, жестокую или деструктивную конкуренцию, которая разрушала как саму конкуренцию, так и приспособленные фирмы и не приносила никакой пользы или выгоды потребителю. Экономисты использовали эти аналогии для того, чтобы отделить хорошие (экономические, или социальные) формы конкуренции от плохих (биологических, или подобных войне)» (с. 325). Таким образом, роль биологических метафор в сфере экономики сводилась, по мнению М. Морган, к моральным оценкам, и именно в таком качестве они сохранились в экономическом лексиконе современности. Так, «понятие «хищнической политики цен» осталось важной категорией антимонопольного законодательства и судебного расследования» (с. 332).

Иначе рассматривается роль биологических метафор в статье Д. Ходжсона «Биологические и физические метафоры в экономике», хотя речь здесь идет не столько о реальной, сколько о потенциальной познава-

тельной ценности метафорических моделей, создаваемых на основе биологических феноменов. Предметом исследования Ходжсона является сравнение объяснительной силы механистических и биологических аналогий, и это сравнение делается в пользу биологии. Вместе с тем, в сфере экономической теории наблюдается преобладание механистических аналитических моделей. «Современная экономическая наука, — пишет Д. Ходжсон, — все еще пропитана метафорами классической механики и физики периода до 1860 года» (с. 339). Принципиальные недостатки механистической метафоры Д. Ходжсон видит в том, что она «исключает знание, качественное изменение и необратимость времени. Она держит экономику в равновесной схеме, где нет систематических ошибок и нет кумулятивного развития» (с. 347). «Легко вывести происхождение идей рациональности и равновесия, центральных концептов неоклассической экономики, из механистического мышления», — рассуждает Д. Ходжсон. Так, выбор пути в классической механике подчиняется закону наименьшего сопротивления, равным образом экономические агенты оптимизируют свое поведение, как если бы они были частицами, подчиняющимися механическим законам. Здесь нет места для идей: все, что есть, это вещество, предмет действия ньютоновских законов (с. 346). Использование эволюционных подходов в экономике позволяет, по мнению автора, внести существенные коррективы в ортодоксальную механистическую парадигму. С этими подходами Д. Ходжсон связывает понимание необратимых и непрекращающихся процессов, долговременного развития, качественных изменений, вариативности и многообразия, неравновесных ситуаций, ошибочного и неоптимизированного поведения. «Биологические идеи релевантны экономике потому, что и экономические, и биотические системы отличаются высокой степенью сложности. Они включают запутанные структуры и каузальности, постоянное изменение и огромное разнообразие» (с. 349). Одним из методологических затруднений, вызванных подобной сложностью объекта, является проблема уровня абстрагирования и выбора релевантных единиц анализа. В то время как в биологии эта проблема воспринята достаточно серьезно, в экономике ей уделяется значительно меньше внимания. «Более полное принятие биологических метафор может помочь восстановлению баланса», — полагает Д. Ходжсон (с. 349).

Интересные возможности экономического анализа открывает дарвиновская идея относительной целесообразности эволюционного отбора. «Общепризнанно, — замечает Д. Ходжсон, — что эволюционное мышление включает отрицание любого рода государственной субсидии или вмешательства, и поддержку *laissez-faire* на основе идеи “выживания наиболее приспособленного”. В то же время неверно считать, что эволюционное теоретизирование всегда исходит из оптимальности конкуренции, эволюционного «прогресса» и *laissez-faire*. Согласно современной теории, эволюционный процесс не ведет с необходимостью к оптимальным последствиям. Эти аргументы применимы и к экономике, и к биотическим феноменам» (с. 347). Таким образом, биологическая ориентация экономического анализа, в представлении Д. Ходжсона, выходит за рамки заимствования образов. Биологическая метафора предстает как нечто более серьезное, чем «литературный орнамент» (с. 340). «Обращение к ресурсам биологии, — настаивает автор, — не просто тактика. Реально существующие экономические феномены имеют

больше общего с биологическими организмами и процессами, чем с механистическим миром биллиардных шаров и планет. Помимо всего прочего, экономик описывает поведение живых человеческих существ, а не только вещество, силы и энергию» (с. 347). В статье Д. Ходжсона обсуждаются не только преимущества, но и ограничения биологического подхода. Биология — не панацея и не свободна от аномалий. «Все метафоры рожают проблемы, так же как и решения, — пишет автор. — Исключительно важная проблема как биологической, так и механической аналогии есть концептуализация человека действующего (human agent). Некоторые критически настроенные экономисты выступают против риторической, ортодоксальной и механистической экономики, не оставляющей места для реального индивидуального выбора... Биологический естественный отбор вводит генетическую репликацию и случайную вариацию или мутацию, но, по-видимому, не придает значения интенциональности (intentionality), целеустремленности и выбору. Транспозиция многих корневых (“hard core”) метафор из одной науки в другую может выявить проблемы и в источнике, и в “пункте назначения”. Например, проблема “витализма”, которая включает выбор, волю и цель, постоянно присутствует внутри биологии. Хотя “витализм” ныне не в моде, он поднимает значимые проблемы...» (с. 348). Концепция номогенеза тематически локализована как раз в области подобных вопросов.

Современная литература по экономической эволюции и техническому изменению постоянно апеллирует к биологическим метафорам. Вместе с тем, небольшое внимание уделяется концептуальным и методологическим вопросам. Так, исключительное значение для социальных наук имеет биологический анализ, связанный с групповым или экосистемным уровнями селекции. Д. Ходжсон обращает внимание на новые биологические концепции каузальности, связанные с феноменом организации. При этом он отсылает читателя к работе Джона Кэмпбелла «Организационная интерпретация эволюции» (с. 350).

Трансфер биологических понятий, идей и объяснительных моделей в социальное и гуманитарное знание представляет не только историко-научный интерес. Продолжает развиваться свою исследовательскую программу социобиология, работы Э. Уилсона получили широкое признание [6]. Новые попытки установления междисциплинарных связей предпринимаются в этологии человека, активно использующей биологические модели для описания социальных феноменов. В самой социологии, несмотря на явную идиосинкразию к биологическим интерпретациям, по-прежнему звучит биологическая терминология. Так, редкие теоретические рассуждения о феноменах культуры происходят без обращения к биологической метафоре генетического кода. Полагая, что метафоры играют конструктивную роль в научном теоретизировании, С. Маасен вводит различие между переносом (трансфером) и преобразованием метафоры: «В то время как перенос метафорически сформулированного концепта имеет эвристическую функцию и вдохновляет ученого на генерирование гипотез, последующая трансформация относится к дисциплинарно специфической обработке этой метафоры с помощью существующего корпуса теорий, методов и объектов» (с. 13). Иначе говоря, трансфер есть использование метафоры как эвристической идеи, трансформация же предполагает использование всего научного контекста

метафоры. Трансфер используется тогда, когда исследователь не может решить проблему имеющимися средствами. В этом случае «метафора может предложить информацию о возможном подходе к изучаемой проблеме и ее возможном решении... В этой форме, или на этой стадии, метафора приходит на ум как эвристическое решение... Такой способ рассматривается преимущественно в терминах его педагогической ценности: способна ли метафора прояснить непривычные связи через знакомые?... Трансформация метафоры приводит к развернутому исследованию импортируемого концепта» (с. 22-23). Нетрудно понять, что трансформация метафоры приводит к ее исчезновению как метафоры, превращению в более определенный концепт или модель. «В случае «простого» трансфера, — замечает С. Маасен, — метафоры остаются видимыми как дисциплинарные «самозванцы» (intruder); в случае трансформации конструкт постепенно абсорбируется дисциплинарным корпусом, модифицируя последний...» (с. 26). Таким образом, «в процессе дисциплинарной трансформации когнитивное значение метафоры неминусуемо уменьшается» (с. 23).

Особенно «успешные» метафоры вращаются во всех видах дискурса, генерируя «общие поля значений» и стимулируя постоянную обратную связь между различными сферами знания и практики (с. 29). Дарвинизм, рассмотренный с этой точки зрения, есть, безусловно, то «общее поле значений», которое, в латентной, метафорической или эксплицированной форме влияет на все виды современного знания: «Идея эволюционного развития является тем стержнем, вокруг которого структурируется модель мира, свойственная культуре нашего столетия» [2, с. 44]. С. Маасен (с явной аллюзией на известную хабермасовскую метафору) вводит понятие «дарвинизация жизненного мира», имея в виду «проницаемость всех сфер современной жизни биологическими метафорами» (с. 27).

Одним из наиболее сильных проявлений конструктивной роли метафоры является ее способность формировать новые дисциплинарные пространства или содействовать их формированию. «Трансформация... метафор может... происходить в различных формах: как трансляция в специфический дисциплинарный словарь, заполнение дисциплинарных лакун, дифференциация новых исследовательских полей» (с. 25). Наблюдаемый сегодня процесс формирования междисциплинарного пространства культурно-этологического анализа происходит не только путем открытого рассмотрения «чужих» концептов и идей, но и на основе интуитивно-метафорического обмена понятиями и метафорами. При этом, возможно, именно метафора прокладывает путь эксплицитному знанию. Дж. Боно предложил концепцию, согласно которой научный поиск укоренен в дестабилизирующих тенденциях, присущих любому научному языку. Метафоры играют в теории Боно ключевую роль. Научный язык оказывается семантическим гибридом, последствия которого могут быть и продуктивными, и разрушительными (с. 30). С. Маасен полагает, что, даже в случае деструктивных последствий, не стоит бояться метафор. Аналогии — не настолько сильные средства, чтобы привести в движение устоявшееся научное знание. В случае неудачно введенной метафоры трансформацию можно считать несостоявшейся. Наиболее очевидной причиной «провала» метафоры является ее неадекватность. С. Маасен называет и иную возможную ситуацию, когда «метафора не мо-

жет быть обработана дисциплинарными средствами... или... дисциплинарное окружение не принимает требуемой модификации» (с. 24). Наглядный пример несостоявшейся трансформации является история переноса биологических метафор в язык социологии. Дисциплинарный этос социологии отчасти «выдерживает» трансферы, но не допускает трансформаций — полного развертывания биологических метафор, немедленно возводя на пути «биологизаторства» моральные преграды.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Розин В.М.* Методологические проблемы биологии и возможные пути их решения // *Методология биологии: новые идеи (синергетика, семиотика, коэволюция)* / Отв. ред. О.Е. Баксанский. М.: Эдиториал УРСС, 2001. С. 94–111.
2. *Баксанский О.Е.* Коэволюционные репрезентации в современной науке // *Методология биологии: новые идеи (синергетика, семиотика, коэволюция)* / Отв. ред. О.Е. Баксанский. М.: Эдиториал УРСС, 2001. С. 44–64.
3. *Мещерякова Н.А.* СТЭ и номогенез: логические возможности и эволюционистские притязания // *Методология биологии: новые идеи (синергетика, семиотика, коэволюция)* / Отв. ред. О.Е. Баксанский. М.: Эдиториал УРСС, 2001. С. 131–150.
4. *Белусов Л.Б.* Целостность в биологии – общая декларация или основа для конструктивной программы ? // *Методология биологии: новые идеи (синергетика, семиотика, коэволюция)* / Отв. ред. О.Е. Баксанский. М.: Эдиториал УРСС, 2001. С. 74–82.
5. *Плюснин Ю.М.* Проблема биосоциальной эволюции: Теоретико-методологический анализ. Новосибирск: Наука, 1990.
6. *Neimark J.* Wilson is on top of the world // *Psychology Today*. Vol. 31. Issue 5. September-October, 1998.